

- [Теодор Драйзер](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Теодор Драйзер

Оливия Бранд

Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город, — отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае.

Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец.

Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к каким и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного

несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)

Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных походов Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости. Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери.

Но я забегаю вперед... Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Вилледжа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» — в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на Восток.

Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены — друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Вилледжу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще

важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень... Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна? — с улыбкой подумал я.



Среди гостей был модный поэт, — высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный

красотой новой гостью, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов.

Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще... впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она, и правда, была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остроумам и шуткам, веселой болтовне о том, о сем, обо всем на свете.

Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну, уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Вилледж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны, — что

поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.)

Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания.

После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой на шумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ^[1] — между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, — всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь — редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти.

Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала. Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя, так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией — это очень интересные люди — собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об

этой пьесе и об актерах, — и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям.

В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты — странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаюсь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и во всяком случае еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное — самые улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума.

И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек — по крайней мере в Америке, — она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвальбы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы

лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.)

Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо, при этом клубе, — комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь.

— Давайте зайдем сюда прежде, чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило.

Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно, что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь, хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон — крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда.

А что думаю я о той жестокой борьбе, которая происходит сейчас между капиталистами и рабочими? Из моих книг видно, что я сочувствую бедным и угнетенным. Конечно, сочувствую, отвечал я, всем бедным и угнетенным как у нас в Америке, так и во всем мире. Но, мне кажется, неправильно было бы думать, что в своей бедности и угнетенности человек сам несколько не виноват; конечно, у нас имеются не только

несправедливые, деспотичные законы, но и несправедливые, деспотичные люди и порядки, с которыми надо как-то бороться. Ну, а вот насчет того, чтобы сделать всех людей равными и полноценными, это, кажется, не в природе вещей. Заблуждение Хейвуда, Эммы Гольдман и других руководителей рабочего движения заключается, как я тогда сказал, в том, что они предполагают, будто люди, только из-за своей бедности и угнетенности, благодаря какой-то таинственной социальной химии, — суть которой для меня остается загадкой, — могут превратиться, и даже мгновенно, в сознательную и творческую общественную силу; что именно в их руки нужно немедленно передать всю власть, в том числе право распределять блага жизни и указывать каждому его общественные обязанности; творческая же энергия одаренных представителей всякой другой социальной среды должна быть скована. С этим я никак не мог согласиться. Уничтожить угнетение? Конечно, надо его уничтожить, если это возможно, и устранить бедность, насколько это осуществимо для человеческой воли и способностей. Но думать, что люди при каком бы то ни было общественном устройстве могут освободиться от своих недостатков или своей тупости или же что рабочие, люди, занятые исключительно физическим трудом, должны лишь в силу своего численного превосходства стать главным предметом внимания общества и государства — тысячу раз нет! Мне непонятна такая точка зрения. Я не хочу, чтобы рабочих угнетали. Но я также не хочу, чтобы им переплачивали или разрешали — только потому, что они могут организовать и имеют право голоса, — указывать всем остальным трудящимся, или мыслителям, или высокоталантливым творцам во всем мире, как и в какой мере они должны быть вознаграждены за свой труд. Ибо человек, вынужденный из-за своего умственного несовершенства заниматься физическим трудом, неспособен диктовать творческому уму, в каких границах тот должен мыслить и какое вознаграждение получать за свой умственный труд. Жизнь создана не для одной какой-нибудь общественной группы — будь то рабочие, или ремесленники, или художники, торговцы, или финансисты, — а для всех. И ни в коем случае не следует все слои общества мерить одной меркой. Они не могут одинаково думать и требовать одинакового вознаграждения — так никогда не будет. Жизнь по самой своей сути стремится не к однотипности, а к многообразию. Химически, биологически она представляет собой неустойчивое равновесие. И то же самое можно сказать о человеческом обществе. Следовательно... Но, кажется, я впадаю в поучающий тон, а ясностью мои рассуждения, боюсь, не отличаются, поэтому...

И у нас завязался один из тех нескончаемых споров, которые по большей части ни к чему не приводят; он продолжался после театра, во время нашего позднего ужина и у нее дома, так что я попал к себе только к трем часам ночи. Теперь я понял, что Оливия женщина поистине незаурядная, способная и волновать своей красотой и пленять своим живым умом. Кроме того, я разглядел в ней душевную отзывчивость и человечность, которые не позволяли ей спокойно и равнодушно относиться к страданиям людей. Эта отзывчивость главным образом и побуждала ее, как мне кажется, читать, думать, искать, общаться с людьми и бывать повсюду: ей хотелось самой все видеть и слышать, все узнавать из первых рук. У меня появилась уверенность, что, несмотря на все, что мне рассказывали о ее легкомысленных наклонностях или, быть может, именно благодаря им, мы еще услышим об ее участии в сфере интеллектуальной деятельности.

Теперь, заинтересованный ею, я охотно принял приглашение прийти к ней на обед. Я застал у нее разнообразное и интересное общество. Наряду, например, с Мойером, которого вместе с Хейвудом и Петтибоном судили за убийство некоего Штейненберга, бывшего губернатора штата Колорадо, происшедшее несколько лет назад во время знаменитой колорадской забастовки горняков, там были: два художника и музыкант — всех троих я хорошо знал, — редактор одного либерального журнала, редактор социалистического еженедельника того же направления, что и «Дейли Уоркер», поэт, тот самый, который осыпал ее комплиментами на обеде в «Черной кошке», всегда блистательный Бен Рейтман, бывшее увлечение Эммы Гольдман, один журналист (пожалуйста, запомните его!), который, располагая средствами и досугом, вел отдел городских новостей в одной из крупных воскресных газет Нью-Йорка; а для колорита и украшения общества там было пять или шесть молодых замужних и одиноких хорошеньких женщин, весьма неглупых и остроумных, обладавших своего рода нюхом на все достойное внимания в области философии, искусства и социальных проблем. Впрочем, на сей раз мы собрались просто для того, чтобы за едой и вином приятно провести время.

Все связанное с Оливией Бранд будило теперь мое любопытство. В тот вечер меня особенно заинтересовал стиль обстановки ее комнат, вернее, то настроение, которое в этом проявлялось. Эффектность — вот наиболее подходящее слово для характеристики этой обстановки. Лесопромышленник, как видно, не поскупился и разрешил покупать все, что ей вздумается. Преобладала старинная мебель, повсюду красивые ковры, были тут и гобелены, и ультрамодерновые скульптуры и несколько

интересных, хотя, пожалуй, слишком броских неоимпрессионистических картин, которые она бог весть где раздобыла. Ковры, портьеры, картины, торшеры, книги — все говорило о нарочитой небрежности, о стремлении поразить утонченностью своего вкуса. Масса книг по самым разнообразным вопросам. Эта женщина безусловно любила книги и читала много, притом не только для развлечения. Вначале я не был уверен, что все это отражает ее собственные интересы, и подозревал чье-нибудь чужое влияние. Однако с течением времени я убедился, что она была вполне самостоятельна в выборе.

Оливия старалась быть приветливой и внимательной со всеми, и, слушая те грубоватые, а подчас до крайности резкие суждения, которые позволяли себе ее гости, я подумал, что она, пожалуй, даже излишне терпима к чужим взглядам. Создавалось впечатление, что собственные ее воззрения и интересы слишком уж широки и неопределенны. Однако было ясно, что в противоположность сторонникам крайних мер, неизбежно связанных с революционными потрясениями, она стояла за всестороннее развитие. Людям нужно учиться, учиться, учиться! (Если бы только они имели такую возможность!) Как-то впоследствии я сказал, что ей следовало бы избрать восходящее солнце своей эмблемой. Впрочем, она слишком интересовалась людьми — главарями каждого лагеря, — и это мешало ей стать на чью-либо сторону; однако в некоторых острых вопросах рабочего движения она была такой же непримиримой, как и любой революционер.

Еще одно я заметил в тот вечер, что Оливия, как женщина, нравилась очень многим и сама не скупилась на ответные чувства, и это, заметьте, при наличии щедрого мужа где-то на Западе. По этой причине я был склонен, в особенности первое время, когда еще плохо знал Оливию, осуждать ее. (Все понять — значит все простить!) Среди ее поклонников был, например, литератор, тот самый, который рассказал мне о ее вечерах, — пышущий здоровьем, энергичный и привлекательный мужчина. Я заподозрил, что он имел особые права в этом доме, и, как потом выяснилось, я не ошибся. Затем был поэт, который пел ей дифирамбы в «Черной кошке». Его пьяная развязность на том вечере, как и в других подобных случаях, убедила меня, что он уже пользовался ее благосклонностью. Он впоследствии сам мне в этом признался. Был еще профсоюзный гигант. Да, и он тоже! Экая любвеобильная особа, подумал я.

Тем не менее она мне очень нравилась. Было решительно что-то вдохновенное в ее страстном интересе к жизни, в ее умении чувствовать красоту, поэзию, романтику. Меня поражало ее тяготение к людям, творчески одаренным, особенно если им к тому же не было чуждо

понимание красоты, и ее искреннее сочувствие тем, кто был всего этого лишен. Я подумал тогда, что в ней как бы воплотилось новое, а может, и очень старое, не знаю, как правильнее сказать, стремление женщин к свободе, их современный ответ на извечное непостоянство мужчин. Оливию, казалось, не слишком беспокоило, как оценивают люди женскую добродетель. Она была за жизнь, за дерзания, за романтику в любом их проявлении. А добродетель — или кодекс супружеской морали — она считала пустой выдумкой, которая одним людям нужна, а для других совершенно бесполезна. О себе же она, очевидно, решила, что имеет право на ту дионисийскую свободу, которую греки даровали лишь гетерам. И вообще она была убеждена, что женщина должна быть так же свободна в любви, как и мужчина, но она никому не навязывала своих взглядов и не считала, что мужчин надо ограничить в их правах. Как я понял из ее поступков и слов, она верила, что свободное общение одаренных мужчин и женщин не только принесет им самим радостное вдохновение и духовный подъем, но и будет способствовать общему благу, служить источником новых и плодотворных идей и вдохновителем общественного развития. Признаться, я невольно улыбался, слушая ее беседы с Беном Рейтманом, похожим на Гаргантюа, о том, как лучше устроить мир, — на этот счет у них было полное согласие. (О Рабле, если б ты мог присутствовать при этом!) Добавлю, что Оливия не была склонна рассматривать чувственную любовь только как потворство инстинкту, напротив — она связывала ее с романтикой, счастьем, идеями. Все, что угодно, ради достижения свободы духа, сказала она мне однажды, пусть жизнь будет как вихрь, в котором мужчины и женщины обретут счастье и вместе с тем смогут мыслить и творить.

Что касается благоприличия и правильности таких взглядов, то я сказал бы: если мужчины и женщины способны долгое время находить удовольствие в подобном вихре, то, очевидно, это имеет какое-то оправдание. Бесспорно, что пуританизм обесцвечивает жизнь и порождает скуку, ибо сводит любовь к простому деторождению: плодитесь и размножайтесь! А для чего собственно? С другой стороны, далеко не все мужчины могут выносить непостоянство женщин, равно как и не все женщины согласны мириться с непостоянством мужчин. Но и не все способны выносить скуку, даже благодетельные. И если некоторых людей их внутренние импульсы толкают на это бешеное кружение, то зачем их останавливать?

Все же, что там ни говори, а Оливия Бранд была незаурядной женщиной. Она познакомила меня, и, конечно, не только меня, с

интересными людьми, мыслями, событиями и книгами. Однажды, помнится, она повела меня на тайное собрание, где я увидел рабочего лидера, одного из руководителей знаменитой лоренской стачки. Оно происходило в Ист-Сайде в каком-то грязноватом зале с плотно занавешенными окнами, — боялись налета полиции, ибо уже имелся ордер на арест этого революционера. Люди столпились в душной комнате; и тут я воочию убедился, с какой страстностью бесправные и обездоленные тянутся к тем, кто может вселить в них хоть искру надежды. Нужно сказать, что в спасители этот человек вряд ли годился. Впоследствии он потерпел неудачу — вместе с другими он был выслан из США и недавно умер где-то за границей. Это не был вождь, а всего только человек горячего темперамента и беспокойного ума, который, задумавшись однажды над язвами жизни, с тех пор навсегда и совершенно бескорыстно отдал себя борьбе за дело рабочего класса. Но эта комната! И эти бледные, лихорадочные, изможденные лица! Маленькие фабричные работницы и служанки, не сводившие с него восторженных глаз! Мне казалось, будто я смотрю в окно на новый, неведомый для меня доселе мир. Будто я вижу Христа, задумчиво проходящего среди печальных теней преисподней.



Но это еще не все. Именно Оливия повела меня в мечеть и в то единственное в Нью-Йорке место, где происходили собрания огнепоклонников, и на запрещенное состязание в боксе. И, наконец, в разгаре душного нью-йоркского лета, когда я изнывал от зноя и вдобавок сидел без денег, именно она разыскала этот ресторанчик, устроенный каким-то незадачливым лодочником на старой барже, полузатонувшей в прибрежном иле у берега Северной реки близ Девяносто шестой улицы. Ресторанчик был самый захудалый, но зато там можно было за семьдесят пять центов получить очень хороший бифштекс или баранью котлету и посидеть летним вечером, любуясь на закат солнца или на мерцающие звезды. Лодки, проплывавшие мимо! Плеск воды у самого нашего столика!

Веселая болтовня десятка собравшихся со всех концов города знакомых, которых Оливия уговорила сюда приехать. Я словно сейчас вижу, как около семи часов вечера они торопливо спускаются к берегу, предвкушая ожидающий их бифштекс с картошкой на увязшей в грязи барже. Причудливая прелесть этих вечеров! Такое чувство, словно тебя ждет какое-то неведомое приключение — это и привлекло Оливию и побудило ее созвать нас всех, чтобы поделиться с нами своей находкой.

Однако я несколько отклонился. При встречах я всегда старался дать ей понять, что мой интерес к ней носит чисто духовный характер. Тем не менее я вскоре обнаружил, что, невзирая на всю мою сдержанность, я, по-видимому, был избран ею для любовного приключения, как уже бывало со многими до меня. Вначале это ни в чем заметно не проявлялось. Она обращалась со всеми одинаково просто и дружелюбно. Однако, когда появлялся избранный, она улыбалась особенно обворожительно и протягивала руки в каком-то особом приветливом жесте, который красноречивее любых слов говорил: «Я рада тебе!». И всегда у нее находилась какая-нибудь новость, которой она делилась только с ним. Вскоре я стал замечать, что она все чаще приглашает меня одного, отдельно от других. То ей хотелось, чтобы я послушал в ее исполнении (кстати сказать, прекрасном) какой-нибудь романс или фортепианную пьесу, то у нее оказывалась какая-нибудь новая редкая книга, которой я еще не знал. Именно так мне довелось познакомиться с «Золотой ветвью» Фрезера, а также с произведениями Фрейда. (Позже я встретился у нее с американским последователем этого австрийца, известного своим истолкованием главного движущего импульса жизни.)

Однажды, за завтраком у нее дома, скрытый смысл ее отношения ко мне стал слишком уж очевиден. На столе было вино, в воздухе носился пряный запах курений. Оливия знала, как все это обставить — кокетливо усадить вас в кресло, бросить для себя подушку на пол у ваших ног, придвинуть низенький столик, на котором стояли чашки с кофе, конфеты, фрукты, а порой лежала какая-нибудь книга или репродукция. И она умела принять самую грациозную позу. Но сначала мы отправились с ней в кухню, где приготовили яства для нашего пиршества, причем сам я выступал в роли помощника повара и судомойки. Именно здесь, в кухне, и, очевидно, не без умысла, она стала рассказывать мне историю своей жизни. Начало ее вам известно. Я уже пытался обрисовать ее отца — почтенного бородача из Солт-Лейк-Сити. По словам Оливии, она никогда не могла его понять и в восемнадцать лет ее так и подмывало сделать что-нибудь наперекор всем условностям и приличиям, которые он собой олицетворял.

И вот в один прекрасный день, выбирая себе книгу в городской библиотеке, она встретила молодого адвоката, до той поры ей совершенно незнакомого, — в поисках способа сделать карьеру он неизвестно откуда появился в тамошних краях. Молодой человек был весьма любезен и недурен собой. Он помог ей выбрать книгу и посоветовал, что еще прочитать. Попутно он рассказал, где находится его контора, и договорился с Оливией о новой встрече — сперва в той же библиотеке, как самом удобном месте для таких свиданий. В дальнейшем он уже приглашал ее к себе.

Этот роман продолжался больше года. Как призналась мне Оливия, ее чувство к нему не было глубоким. Она шутливо пыталась оправдать столь длительную привязанность к этому человеку тем, что устраивать с ним свидания было отнюдь не легко. Возникавшие при этом препятствия разжигали ее интерес к нему. Молодой адвокат, разумеется, был уже женат. Но не опасность и не какая-нибудь катастрофа положили конец этой истории, а просто усталость, постепенно созревшее в душе Оливии сознание, что жизнь ее по-прежнему остается замкнутой в те же узкие рамки, что это приключение ничего ей не дало. Через несколько месяцев ей стало казаться, что ее возлюбленный не такой замечательный человек и что, пожалуй, она стоит большего. А его вполне устраивала собственная жена, которая была довольно богата; и, когда пришло время, он без особых волнений расстался с Оливией.

Вскоре после этого на сцене появился ее будущий муж, лесопромышленник из Спокэна, о котором я не раз слышал (впрочем, не от самой Оливии) как о грубом материалисте и неотесанном мужлане. По ее же словам, это был человек приятной внешности и очень богатый, но ограниченный. Для него существовало только то, что он мог видеть глазами, ощупать руками, сосчитать или измерить аршином. Ничто не казалось ему загадкой, кроме разве душевных болезней или каких-нибудь религиозных и политических химер. Его кумиром были деньги и все, что они приносили с собой: обширные поместья, собственные дома, дорогая мебель, счет в банке, место директора компании, общение на равной ноге с теми, кто, подобно ему самому, достиг богатства, или по крайней мере признание этими людьми его достоинств.

Позиция отца вызвала у нее недоумение. Вы помните, что, по собственному ее признанию, она никогда не понимала отца. Теперь же, в связи с его заботами об устройстве ее брака, он стал казаться ей еще более загадочным. Из всего, что он раньше говорил, можно было заключить, что самым важным в жизни человека он считает религию. Причем под религией он понимал не христианство вообще, а секту баптистов, к которой

сам принадлежал. Именно секта была дорога ему — его церковь, членство в ней, те общественные и коммерческие выгоды, которые гарантировали ему живое участие в жизни общины. И, однако, стоило появиться этому кандидату в мужья, которого уж никак нельзя было назвать глубоко верующим человеком, — он, правда, был как-то связан с методистами, но, по-видимому, весьма поверхностно и непрочно, — как его немедленно ввели в дом и представили дочери, потому что мать и отец прекрасно понимали и не раз уже говорили, что ей пора выйти замуж. Есть там у него религия или нету, зато он богат! Он приехал в Солт-Лейк, чтобы присмотреть и купить какие-то пастбища. Отец был очень озабочен тем, чтобы дочь предстала перед ним в полном блеске: он позвонил домой, извещая, что приведет сегодня одного очень солидного человека, будущего клиента их банка — не будет ли дочь так добра проявить к нему немножко внимания, хотя бы ради отца, — при этом ни слова ни о религиозных убеждениях, ни даже о личных достоинствах упомянутого джентльмена. Достаточно того, что он богат! Это в банке уже точно установили.

Как бы то ни было, по словам Оливии, лесопромышленник сразу же проявил к ней большое внимание. Он задержался в городе на много дней. Всякий раз, бывая у них в доме, он говорил о размерах своего состояния, приводя точные цифры, — прямо уши прожужжал и родителям Оливии и ей самой. А когда он уходил, родители продолжали обсуждать эту тему. К этому надо прибавить, что одна из школьных подруг Оливии совсем недавно вышла замуж, притом весьма удачно, и с тех пор стала разговаривать с ней свысока. Самолюбие Оливии было уязвлено, а похвалы претенденту, расточаемые родителями, довершили дело. Что ж, по крайней мере она будет богата! С другой стороны, все, что она уже слышала о необходимости пока не поздно обеспечить себя спокойным семейным очагом, подсказывало ей, что после истории с юристом благоразумно было бы оградить себя на всякий случай брачным свидетельством. И она стала отвечать на письма своего поклонника. Он приехал снова. Оливия рассудила, что, став замужней женщиной, она получит большую свободу и сможет, наконец, делать все, что ей вздумается. Так почему бы и не выйти замуж? К тому же она этим натянет нос своей школьной подруге. Когда лесопромышленник появился снова, Оливия дала согласие. Затем была свадьба — настоящее венчание в церкви, у Оливии в руках были лилии. Потом поездка на Гавайи, где у мужа Оливии даже во время медового месяца нашлись какие-то коммерческие дела, и, наконец, Спокэн.

В наше время, я думаю, всякий хорошо знает, до чего убога умственная и духовная жизнь в торговом американском городе средней

руки — одном из тех, о которых в справочниках пишут: занимает девятнадцатое место по числу жителей, семнадцатое — по экономическим и финансовым данным и т. д. Но, когда Оливия рассказывала об этом, слушать ее было интересно. Общество дочерей американской революции (весьма влиятельная организация); Тагоровский литературный кружок; кружок Новых идей; Американская федерация женских клубов; не менее семи обществ для поощрения или, наоборот, для предотвращения чего-нибудь; прибавьте к этому религиозные дискуссии и беседы: некоторые почтенные семейства придерживались крайних сектантских взглядов. Рядом с этой, так сказать, интеллектуальной жизнью протекала жизнь деловая и светская видных людей города, их жен и дочерей — биржа, загородный клуб, торговый клуб, семейство таких-то с их автомобилем в семьдесят лошадиных сил, Констанция такая-то с ее избранным кругом друзей. В гостиных самых интеллигентных домов в те дни, как рассказывала Оливия, все еще можно было увидеть последние произведения Гопкинсон Смита, Марии Корелли и Томаса Нилсон Пейджа. Устраивались иногда несколько старомодные живые картины. Билли Сандей считался крупной общественной фигурой, и его принимали в лучших домах.

Все это благоприятствовало, конечно, расширению умственного кругозора, да и сама Оливия в ту пору была, в сущности, пустой, хитрой, чувственной и тщеславной молодой особой; однако было, видимо, заложено в ней и что-то другое, благодаря чему она сильно изменилась, и даже очень скоро. Она поняла теперь, что не одни только деньги были ей нужны. Возможно, что лишь к этому времени она достигла той ступени, когда человек начинает обретать свое истинное «я». Во всяком случае окружающая обстановка заставила ее уйти в себя и повысила в ней интерес ко всему, что не было похоже на то, что она видела вокруг. Она стала покупать и читать серьезные книги: исторические сочинения, романы, мемуары. Нужно сказать, что у мужа Оливии, к ее удивлению, оказалась хорошая библиотека — она целиком досталась ему от кого-то, кто вынужден был расстаться с ней! Однако чтение книг только усиливало ее неудовлетворенность. Избранные произведения Вальтера Скотта, Диккенса, Брет Гарта, Роу! Неудивительно, что в поисках более интенсивной духовной жизни она невольно стала искать общества людей, мыслящих иначе, чем те, кто ее окружал. Но пока она вращалась исключительно в кругу членов загородного клуба, гольф-клуба, яхт-клуба; вдобавок муж старался ей внушить, что его жена должна занимать такое же место в светском обществе, какое сам он занимал в мире финансов. Он постоянно

заставлял ее приглашать и принимать гостей, которые могли быть ему полезны. Это вовсе не льстило ее честолюбию. Она стала увивать и уклоняться от обязанностей хозяйки дома. Между супругами начались ссоры. В довершение всего Оливия как раз в это время сблизилась с молодой замужней женщиной одних с ней лет, которая испытывала почти такую же неудовлетворенность. Она была женой довольно богатого агента по продаже недвижимости и жаждала развлечений, но не по надоевшему светскому шаблону. Ее скорее привлекала деятельность левых, и в особенности сами левые.

Милях в пятнадцать или двадцати от города, в котором жила Оливия, находился маленький курорт или колония, где проводили свой отдых деятели рабочего движения. Сейчас там поселились несколько писателей и пропагандистов, интересовавшихся профсоюзной борьбой, которая в то время разгоралась в западных штатах, среди них — широко известные шведские, норвежские, а также американские и английские агитаторы. Эта колония пользовалась сомнительной репутацией из-за того, что, по слухам, там жило несколько супружеских пар, которые, однако, не состояли в законном браке. Доказательств, правда, не было, поэтому спокэнское общество не возмущалось открыто, но в Спокэне на колонию смотрели косо уже хотя бы потому, что там жили люди, связанные с рабочим движением. Однако новая знакомая Оливии по каким-то своим личным причинам относилась к этим людям дружелюбно. Ее приятельница, жена одного из главарей колонии, много рассказывала ей об их идеях и целях; все это очень ее заинтересовало. Не хочет ли Оливия встретиться с кем-нибудь из них? В их среде можно завязать интересные знакомства с умными образованными людьми. Не хочет ли Оливия пойти туда? Вот так и получилось, что обе молодые женщины рискнули в конце концов появиться в колонии.

Как она теперь вспоминала, атмосфера этого места поразила ее. Там было мало денег, но много идей и ярких индивидуальностей. Между прочим, там жил молодой поэт-революционер, с которым у Оливии завязался безнадежный роман. Его звали Джитеро (впоследствии, как сказала она, он погиб в одной из забастовок; именно он познакомил ее с бунтарской литературой: с Марксом, Стриндбергом, Ибсеном, Горьким, Кропоткиным и Генри Джорджем). Она стала назначать ему тайные свидания в своем доме, и вскоре мистеру Х. Б. Бранду, ее мужу, начали со всех сторон намекать, что под его семейным кровом далеко не все обстоит благополучно. Его жену и миссис Рилтор видели в пресловутой колонии. В его отсутствие какой-то проходимец из той же колонии время от времени

посещает его собственный дом.

Произошла бурная семейная сцена. Бранд требовал, чтоб ему сказали правду, Оливия отвечала уклончиво. Она просто интересуется этими людьми, вот и все. Эти радикалы милые люди, во всяком случае очень культурные. Что в них плохого? Однако Бранд, преуспевающий делец, член торговой палаты, видная фигура в семнадцатом по числу жителей городе США, очень хорошо знал, что в них плохого! Это же сборище головорезов! Анархисты, социалисты! Их надо арестовать, посадить за решетку, вышвырнуть вон из страны! Он не потерпит, чтобы подобная шваль являлась к нему в дом, он требует, чтобы его жена на пушечный выстрел не приближалась к этой колонии. Она не умеет или не желает поддерживать знакомство с порядочными людьми, с людьми своего круга, что ж, пусть! Но с этими-то она во всяком случае не должна связываться. Она погубит себя, да и его тоже — последнее, вероятно, в какой-то мере соответствовало истине.

К несчастью для него, благодаря этим новым знакомствам умственный кругозор Оливии значительно расширился. Она уже больше не считалась со своим мужем и его друзьями; а радикалы ей нравились — во всяком случае ее увлекали идеи, за которые они боролись, — и муж стал ей теперь казаться недалеким, жадным, самонадеянным и невежественным человеком. Он богат, да, но, очевидно, для того чтобы делать деньги, как раз и нужна, по крайней мере в некоторых случаях, жадность и известная ограниченность; такой человек неизбежно отгораживается от всяких интеллектуальных, романтических и уж тем более революционных интересов. Оливия стала задумываться над тем, как бы ей выйти из неприятного положения, в которое она попала. Правда, ей было еще нелегко отрешиться от тех консервативных понятий, которые внушались ей с самого раннего детства.

Но заставить себя подчиниться она не могла, да и не хотела. Она не желала отказываться ни от дружбы с миссис Рилтор, ни от радикалов. Начались тайные встречи. Была перехвачена записка. Оливии было приказано покинуть дом, а когда она уже собралась уезжать, ей приказано было остаться — проявление слабости, которой, по ее признанию, она не замедлила воспользоваться. Она попробовала было защищать своих новых друзей, что возмутило мужа еще больше, чем перехваченная записка, ибо, как он и опасался, Оливия оказалась зараженной ядом радикализма. Однако, понимая теперь, что муж слишком сильно привязан к ней и что ему не так-то легко с ней расстаться, она продолжала стоять на своем и сделала еще одну попытку уйти. Кончилось это тем, что муж в исступлении

изорвал на ней платье и запер ее на ключ. Затем он плакал, просил прощения и купил ей дюжину новых платьев взамен изорванного.

Но это было только начало. Муж стал донимать ее расспросами о ее поведении, ее взглядах и разговорами об обязанностях по отношению к нему и к обществу. Он даже грозился ее убить. Однажды он избил ее, и, когда она пыталась бежать, пригрозил, что все равно поймает и опять исколотит, а то и убьет. Хуже того, он объявил, что напишет ее родителям или поедет к ним сам и обо всем расскажет. Это, и только это, остановило Оливию, ибо какой бы мятежный дух ни владел ею, она все же не решалась совершить поступок, который мог подорвать престиж родителей, повредить их положению в обществе и нарушить их покой, — они ведь ничего не знали об ее изменившихся взглядах и уж никак не могли им сочувствовать. Для них это был бы удар, в особенности для отца, а Оливия страшилась его взволновать.

Тем временем ее муж, воспользовавшись этим затишьем, повел против колонии такую атаку через местные газеты, что ее существованию пришел конец. Обитатели ее были разогнаны. Но Бранд, очевидно, не понимал, что он имеет дело с растущим и меняющимся организмом, и в одно прекрасное утро этот организм объявил за завтраком, что между ними все кончено. Ей не нравится Спокэн. Ей не нравится муж. Она не намерена больше жить с ним, независимо от того, как он будет с ней обращаться. Дом, автомобиль, деньги — ничего ей больше не нужно. Она уходит и будет жить самостоятельно. Поедет в Нью-Йорк и поступит в Колумбийский университет, проверит себя — а вдруг у нее есть литературные способности, и тогда она будет писать рассказы и пьесы! Она больше не может бездельничать и вести светскую жизнь. Пусть он для этого поищет себе другую. С нее довольно!

Сперва Брандом овладела ярость, потом он растерялся и, наконец, перепугался не на шутку. Он остался дома, следовал за ней в спальню, долго стоял молча за ее спиной и, наконец, взволнованно спросил: «Чем же я плох, Оливия? Или я просто противен тебе? Да? В этом все дело?» Оливия говорила, что в эти минуты в нем было что-то жалкое и пришибленное. Впервые за все время, что она его знала, его безграничная самонадеянность, которая всегда так подавляла окружающих и даже ее, казалось, покинула его. Ей хотелось дружески поговорить с ним, объяснить ему, растолковать, но она тут же почувствовала, что это безнадежно. Он неспособен понять ни ее, ни самого себя. Да и она тоже вряд ли понимала его. Но она твердо знала, что, только уехав, она сможет подавить свою неприязнь к нему. В тот вечер она сказала лишь, что оставаться в его доме

для нее невозможно.

Тогда он стал уговаривать ее пойти на уступки. К чему так решительно порывать с ним? Она хочет поехать в Нью-Йорк — хорошо, пусть едет, он будет оплачивать ее пребывание в университете и прочие расходы, при условии, что, когда пройдет срок, скажем два года, она вернется и попробует снова жить с ним и в его кругу. Может быть, им все-таки удастся поладить. За это время он и сам, может, изменится. Не разрешит ли она изредка навещать ее в Нью-Йорке, просто чтобы взглянуть на нее? Он обещает, что это будет всего лишь дружеский визит, не больше. Да, и еще одно условие — раз уж он будет оплачивать ее расходы, ему хотелось бы, чтобы она держалась подальше от всяких радикалов, в особенности от этого поэта, и не нарушала супружеской верности, по крайней мере до тех пор, пока не решит уйти навсегда. (Все эти подробности я узнал гораздо позже, частью от самой Оливии, а частью от других лиц, чьи показания против Оливии мистер Х. Б. Бранд пытался впоследствии использовать. А в тот вечер она представила события в несколько ином свете; во всяком случае она не упомянула о всех условиях, которые поставил ей муж.

Итак, я узнал, наконец, что именно скрывалось за нью-йоркской квартирой, автомобилем, мебелью, картинами и всем прочим. Со стороны мужа вполне естественно было хотеть, чтобы она жила в роскоши, как и подобает жене мистера Х. Б. Бранда. Между прочим, как я узнал впоследствии, квартиру он оплатил вперед за три года. Но хотя мне тогда и не были известны условия их соглашения, особого сочувствия вся эта история во мне не вызвала. Я не был влюблен в Оливию, и неразрешимые конфликты, происходящие от несходства характеров, мало меня трогали. Единственно правильным решением я считал полный разрыв — на любых условиях. Мне была неприятна мысль, что ее весьма романтическая и легкомысленная жизнь оплачивалась именно его деньгами. Впрочем, кто я такой, чтобы предписывать людям правила морали? Оливия интересовала меня как личность, интересует и по сей день, через десять лет после ее смерти. Мне казалось тогда — да я и сейчас так думаю, — что она в те годы еще сама себя не понимала, или, быть может, ее внутренняя жизнь горела тогда столь ярким пламенем, что для нее затмевалось различие между понятиями «мое» и «твое». Так бывает. С другой стороны, сумму, которую предоставлял ей муж, ни он, ни она, вероятно, не считали значительной. Он ведь был в самом деле очень богат. Однажды я спросил Оливию, не собирается ли она по истечении трех лет вернуться к мужу, и она, помнится, ответила, что нет, не собирается, добавив, что к тому времени он, пожалуй, и сам не будет так уж настаивать на ее возвращении,

— замечание, которое поразило меня своей трезвостью и хладнокровием. И все-таки она мне нравилась. В ней было столько живости и очарования, и никогда нельзя было предугадать, что она скажет или сделает.

Тем не менее этот завтрак с его романтическим вступлением ни к чему не привел. Около пяти часов мы расстались и после этого не виделись несколько месяцев. Затем, как-то зимним вечером, у меня раздался телефонный звонок — это была она. Целая вечность, как мы не виделись, правда? Ну, что ж, хоть я и забыл ее, она меня помнит. Не приду ли я сегодня к чаю, у нее будут две очень интересные женщины. Я счел за лучшее отказаться. В следующий раз она предложила мне присоединиться к небольшой компании, которая собиралась куда-то поехать. Я опять отказался, не помню почему, кажется, я был уже приглашен в другое место. Вскоре после этого Оливия сама пришла ко мне. Она была очень просто одета и держалась не так, как всегда. Почему я избегаю ее? О ней ходят какие-то сплетни, может быть, в этом дело? Да ни в коем случае, возразил я. Сплетен я никаких не слышал, и они меня ни капельки не интересуют, а вот сама она меня очень интересуется и сейчас и всегда. Я рад, что она пришла, очень приятно снова ее видеть.

Она тотчас же стала говорить о себе с такой откровенностью, словно я был ее исповедником. Ее жизнь — это сплошная цепь ошибок, теперь она это видит. Но она всегда тянулась к чему-то лучшему. Хотите — верьте, хотите — нет, но она всегда, может быть, бессознательно, стремилась расти. Ей ставили всяческие преграды, но это стремление оказалось сильнее голоса благоразумия. Может быть, она не всегда поступала правильно. Да, да, это, конечно, так. Но в ее жизни все-таки было две по-настоящему значительных полосы — ее знакомство с теми, кто борется и мыслит, и вот эти последние годы в Нью-Йорке. Мысль учиться в Колумбийском университете, которая вначале увлекала ее, оказалась ошибкой. Нельзя научиться быть писателем. Для этого нужно жить и понимать жизнь. Теперь она в этом убедилась, а также в том, что писательское мастерство — это особый дар, зависящий от личности и характера человека.

Но это еще не все. Я, наверно, считаю, что она не совсем красиво поступила с мужем, может быть, это меня оттолкнуло? Но я не должен судить ее слишком строго. В прошлый раз она, видимо, недостаточно ясно изложила мне, как все происходило. Она не была бедна до замужества и, выходя за Бранда, скорее выполняла волю родителей, чем следовала собственному желанию. К тому же она была тогда еще совсем неразумной девчонкой. И разве она не прожила с ним два года, — он сам говорил, что

был с ней счастлив! А что он дал ей взамен? Только вещи, не имевшие в ее глазах никакой цены. Кроме того, он очень богат. Почему бы ему не помочь ей немного, тем более что скоро она уже ничего не будет от него брать? У нее есть план. Она хочет жить самостоятельно. Это будет трудно, так как после окончательного разрыва с мужем ей уже нельзя будет обращаться за помощью к родителям. Они, конечно, станут на его сторону. Но так или иначе, она попытается сама пробить себе дорогу. Она будет работать. Разве это плохо? Так почему бы нам теперь снова не стать друзьями?

Я не стал высказывать свое мнение о ней, хотя оно было самое лестное. Я просто заметил, что, по-моему, она избрала правильный путь, я не сомневаюсь, что она добьется успеха и что мы с ней никогда не переставали быть друзьями.

Недели две спустя она позвонила мне и сказала, что пытается пересдать свою квартиру на оставшийся срок (около года) и, кроме того, продать мебель и автомобиль. На вырученные деньги она снимет более скромную квартирку, о да, гораздо более скромную. Она будет вести тихую и уединенную жизнь и попробует писать. И тем временем постарается получить развод, если это возможно, или предложит мужу начать бракоразводный процесс. Квартиру она скоро нашла, переехала и пригласила меня к себе. Она жила теперь в северной части города, близ Сто девяносто шестой улицы, в новом, менее привлекательном и более бедном квартале. Дом был пятиэтажный, с крошечным лифтом, которым можно было пользоваться лишь в тех редких случаях, когда негр-лифтер, исполнявший также все прочие работы по дому, оказывался на месте. Стоимость этого жилища едва ли превышала тридцать пять или сорок долларов в месяц. Квартира Оливии находилась на третьем этаже: небольшая гостиная, спальня, крохотная кухонька и ванная — только и всего. Зато всюду по стенам — и в гостиной, и в спальне — теснились на полках книги. И какие интересные! Почти все оставшееся пространство занимали пианино, виолончель и пишущая машинка. Уютный уголок! Из окна кухни открывался широкий вид на город, но, увы, только из этого окна.

Не могу сказать, чтобы здесь, в этой новой обстановке, Оливия показалась мне более практичной и благоразумной, чем прежде. Все та же мечтательница и поэт в душе. Правда, она все же менялась понемногу, но стремление к какому-то неведомому идеалу не позволяло ей ни на чем успокоиться. Она сказала, что ей хотелось бы написать большое произведение, выразить в нем свои мысли и взгляды и тем проложить себе дорогу в литературу. Теперь она с каждым днем нравилась мне все больше. Постепенно я стал замечать, что гардероб ее становится скромнее, что

отнюдь не огорчило меня, ибо в прежнее время платьев у нее было гораздо больше, чем нужно. Меня заинтересовало еще и то (видимо, и ее это удивляло), что хотя здесь у нее уже не было возможностей оказывать столь щедрое гостеприимство, как прежде на Риверсайд-Драйв, ее и теперь окружала толпа таких интересных людей, каких редко встретишь даже в свите нью-йоркских знаменитостей, — редакторы, писатели, художники, пропагандисты, социалисты, анархисты, консерваторы — все кто угодно. По крайней мере, два или три раза в неделю ее комнаты наполнялись людьми, приехавшими в такую даль только затем, чтобы повидать ее, не рассчитывая ни на изысканный обед, ни на хорошее вино.

Но случилось так, что именно теперь, когда она окончательно решила порвать с прежней жизнью, на нее обрушилась настоящая беда. Ее муж явился в Нью-Йорк незадолго до ее переезда и объявил ей, что все это время он был осведомлен о том, какой образ жизни она вела и, по его убеждению, продолжает вести. И что если она к нему не вернется, он не даст ей больше ни гроша, мало того — сообщит все ее родителям и опозорит ее публично. Он теперь относится к ней уже не так, как два года назад. Ее поведение, пока она жила одна — и притом на его средства, — убило в нем всякое чувство. Она такая, она сякая. И все-таки видно было, что он продолжает любить ее какой-то странной, болезненной любовью. Ибо в заключение он сказал (я объясню потом, как мне это стало известно), что, хоть она и порочна до мозга костей и без сомнения заслуживает всяческой кары, все же, если она вернется и будет вести себя как полагается, он не станет применять к ней те крутые меры, которыми грозил.

Узнал я обо всем этом вот как. Однажды в мою дверь позвонили, а как раз незадолго перед тем у меня была Оливия и рассказала, сколько неприятностей ей доставляет муж, что это за тяжелый человек, совершенно не способный ее понять, и как он теперь пытается силой принудить ее к тому, на что она никак не может согласиться. И вот теперь этот человек стоял передо мной — среднего роста крепыш, чисто выбритый, подвижной, с властными манерами. Он имеет честь говорить с таким-то? Совершенно верно. Если он не ошибается, я являюсь другом Оливии Бранд и одним из ее поклонников и доброжелателей? Надеюсь, что это так. В таком случае, он хотел бы поговорить со мной. Не могу ли я уделить ему несколько минут? То, что он хочет сказать, близко касается как Оливии, так и его самого. Я пригласил его пройти в кабинет, и он тотчас же принялся красноречиво рассказывать мне о подробностях своей неудавшейся семейной жизни. Что за прелестная девушка была Оливия, пока ее не

отравил этот яд радикализма! Какие порядочные люди ее родители! Она была прекрасно воспитана, и он надеялся, что она сумеет оценить то общественное положение, которое он мог обеспечить ей в Спокэне. Но эти радикалы, они совсем сбили ее с толку. Она пошла по ложному, безумному пути, который неизбежно кончится гибелью. Подумайте только, какую жизнь она ведет здесь, в Нью-Йорке! И тут он стал выкладывать факты, которые, очевидно, мог узнать только через агентов, нанятых им для слежки за Оливией. К ней в дом ходят такие-то и такие-то лица, прощелыги из Гринвич-Вилледжа — как он их окрестил, — непризнанные и освищенные художники и поэты, бунтовщики из ИРМ и тому подобный сброд, бесстыжая, беспутная шайка. Оливия и сейчас продолжает посещать либеральный клуб — ему это точно известно, он может это доказать. Она водит знакомство и постоянно встречается с Эммой Гольдман, Беном Рейтманом, Биллом Хейвудом, Мойером и другими отъявленными радикалами и рабочими лидерами! Она даже принимала участие в стачках: помогала готовить обеды для забастовщиков и работала на их продовольственных пунктах. Он говорил и говорил, и в углах его твердого рта все резче залегала упрямая складка, квадратный подбородок выдвинулся вперед, глаза сверкали. Убежденность этого человека положительно зачаровала меня. Удивительный экземпляр! А весь его облик — безупречного покроя костюм, новые, до блеска начищенные ботинки, яркий галстук бабочкой, подчеркивающий белизну его рубашки и низкого воротничка!

«Какое кричащее противоречие между этим мужчиной и этой женщиной!» — подумал я. И они воображали, что смогут жить вместе! Какая яркая иллюстрация слепоты и недомыслия, которые человек так часто проявляет в юности, а нередко и в более зрелом возрасте. Неужели он и сейчас продолжает всерьез думать о ее возвращении, о возможности примирения? В какой же ад превратится их жизнь, если он все-таки заставит ее вернуться! Я с любопытством смотрел на него. Он, очевидно, считал, что я имею влияние на Оливию, и не сомневался, что я стану на его сторону. Я начал было объяснять ему, что, по-моему, они слишком различные люди и по складу ума и по характеру, и разногласия, которые у них возникают, нельзя разрешить путем споров и насилия. Они по-разному смотрят на жизнь. То, что ему кажется ужасным, ей таким вовсе не кажется, да и мне тоже, если уж говорить откровенно. По всем этим причинам, с величайшей кротостью я пытался внушить ему, что самое разумное было бы оставить ее в покое. Он может, если угодно, лишить ее материальной поддержки (насколько я понял, он уже это сделал), но пусть

не мешает ей идти своим путем и самой решать свою судьбу.

Тогда он вдруг расสวิрепел. Нет уж, простите, этого он никак не потерпит! Она испорченная женщина, развратница, мотовка! Или пусть немедленно возвращается к нему и живет с ним, или он выведет ее на чистую воду! Он давно уже следит за каждым ее шагом. Ему известны все ее знакомые и то, в каких она с кем отношениях. Вот погодите, узнают обо всем ее родители! И все ее друзья в Солт-Лейк-Сити и все родственники! Он наймет юристов и репортеров. Он поднимет на ноги прессу и сотрет с лица земли Гринвич-Вилледж и всех этих радикалов. Он ей покажет! Тут я заметил, что нам, пожалуй, лучше расстаться. Не стоит ему понапрасну тратить красноречие. Я не имею никакого влияния на Оливию, а если бы и имел, то не воспользовался бы этим, чтобы способствовать возобновлению их союза, который расцениваю как досадную ошибку. Бранд с достоинством удалился, и больше я его не видел.

Примирение так и не состоялось. Бранд всячески досаждал Оливии и даже запугивал ее, и временами было заметно, что она от этого очень страдает. Ее переписку перехватывали и вскрывали; телефонные разговоры подслушивали и передавали ему. Ее знакомым звонили по телефону: «Это такой-то?» — «Да». — «Вы знаете Оливию Бранд?». — «Разумеется». — «Это говорит ваш доброжелатель. Советую вам от нее держаться подальше. Вы знаете, чем она больна?» (Следовали обычные в таких случаях инсинуации.) И подумать только, что эту войну против Оливии затеял человек, который уверял, что любит ее и хочет, чтобы она с ним жила! Кое-кого из ее знакомых, даже тех, кому она нравилась, это отпугнуло. Что же касается других (а также и меня), то их отношение к ней несколько не изменилось. Все же Бранду удалось до некоторой степени сделать из нее парию, к чему он и стремился; странно только, что при этом он все еще желал ее возвращения.

Бранд во всяком случае добился одного: спасаясь от его преследований — он следил буквально за каждым ее шагом, — Оливия снова переехала — на этот раз ночью — в небольшую квартиру в Ист-Сайде, где не было телефона, который можно контролировать, и где она поселилась под другим именем. В то же время она съездила в Солт-Лейк-Сити к своим родителям специально для того, чтобы предупредить, насколько возможно, те скандалы, которые Бранд намеревался учинить. Однако, как она мне потом говорила, эта поездка не принесла результатов. Оливии даже не удалось успокоить своих родителей. Теперь, совершенно очевидно, они считали во всем виноватой дочь, а ее мужа — олицетворением законности, порядка и всех прочих добродетелей. Ее отец был в плену ортодоксальных

и консервативных взглядов и не одобрял развода. Что сделано, то сделано. Почему бы ей не вернуться к своему богатому мужу?

Но эта крошечная квартирка в верхнем Ист-Сайде! И как сама Оливия была теперь не похожа на прежнюю! Помню, я однажды встретил ее на Первой авеню, близ Шестьдесят шестой улицы. На ней было простенькое бумажное платье, а в руках корзинка с провизией и какой-то журнал. Если не считать туалета, она очень мало изменилась, и здесь, в кишасщем людьми Ист-Сайде, показалась мне даже более интересной, чем на Риверсайд-Драйв. Она предложила зайти к ней, и, поднявшись по каменной лестнице на четвертый этаж, мы оказались в ее новой квартире — всего лишь кухня (которая служила одновременно столовой) и смежная с ней жилая комната. Но здесь было опрятно и чисто, а из окон открывался прекрасный вид на реку. В комнате были все ее книги, пианино и пишущая машинка. Оливия объяснила, что поведение мужа вынудило ее избегать друзей, и в конце концов, не желая подводить их под неприятности, она решила спрятаться от всех. Она теперь пишет, или пытается писать, рассказы, стихи, очерки и даже пьесу. И если когда-либо ей удастся опубликовать результаты своих трудов, то она сможет жить счастливо, одна или еще с кем-нибудь, но, во всяком случае, свободно и независимо. Так по крайней мере она надеялась.

Все же, начиная с этого времени, жизнь ее стала не легче, а труднее. Правда, не так уж надолго. По словам Оливии, Бранд, прежде чем возбудить дело о разводе, отправился к ее родителям и такого наговорил о ее поведении, что они перестали ей даже писать. Затем он наложил запрет на ее прежнюю квартиру и проданную мебель. А мы все хорошо знаем, каковы доходы начинающего писателя, в особенности если он стремится писать серьезные произведения. Оливия же вдобавок еще не представляла себе ясно, что она может писать и что нравится публике. Поэтому в первый же год жизни в Ист-Сайде ей пришлось расстаться и с пианино и с виктролой. Похоже было, что ей угрожает настоящая бедность. Поистине дорогой ценой платила она за свои убеждения и идеалы.

А затем...

Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, мне хотелось бы рассказать о двух трогательных эпизодах, относящихся ко времени ее жизни в Ист-Сайде. Однажды вечером я зашел навестить Оливию, и она показала мне письмо, которое было подсунуто ей под дверь: написал его поэт, один из тех пылких любовников, которые стремительным натиском покоряют сердца женщин. Он был не лишен дарования, писал стихи; впоследствии он завоевал себе славу на полях сражения во Франции. Он узнал о ее невзгодах и о том, что она вынуждена скрываться. Прекрасное

это было письмо — полное преклонения и искреннего чувства; любая женщина была бы рада получить такое послание. Он говорил о ее белом задумчивом лице, ее темных волосах, он сравнивал их с перламутром и черным янтарем. Она терпит нужду? Он был бы рад помочь ей. Но если она даже никогда больше не вспомнит о нем, никогда не удостоит его взглядом, все равно он будет вечно хранить память о ее облике, слышать музыку ее шагов. И затем спустя две-три недели она нашла на том же месте конверт с деньгами. Как видно, он решил, что она в самом деле голодает.

Потом один из тех рабочих лидеров, о которых я уже упоминал, человек в своем роде выдающийся, разыскал Оливию и предложил ей помощь. Позже я как-то заговорил с ним о ней, и он сказал, что из всех женщин, сочувствующих рабочему движению, которых ему случалось встречать, Оливия не то что больше всех понимала, но была самой отзывчивой и умела воодушевить других. «Она помогала нам во время стачек в Лоуренсе и Патерсоне, — сказал он. — А это всегда сопряжено с опасностью, трудностями и риском. Она близко принимала к сердцу тяжелое положение рабочих, она сострадала голодным и угнетенным, но больше всего ее, пожалуй, увлекало другое — героизм, благородство, красота, которые она видела в этой почти безнадежной борьбе. Не нужно было даже близко общаться с ней, поглядишь на нее — и довольно. Своей улыбкой, своей верой она, казалось, воодушевляла людей. Мне она много дала. Пожалуй, можно сказать, что она меня вдохновляла».

И вот однажды, еще в то время, когда Оливия жила в Ист-Сайде, я получил от нее по почте стихи. Они были адресованы мне, и мое имя стояло в посвящении. Перечитывая их, я понял, что эта женщина способна на нечто большее, чем поденная литературная работа, что она могла бы подняться до вершин подлинного творчества, где живут, мыслят и творят те, кто властвует над умами человечества.

Я выразил ей свое искреннее восхищение стихами, тем, как она умеет тонко чувствовать и передавать движения человеческой души; однако в наших отношениях не появилось ничего нового; это была по-прежнему теплая дружба. Она знала, что я верно понимаю ее, вижу в ней мечтателя, вечно стремящегося к чему-то, человека, который смотрит широко открытыми глазами на все явления жизни, задумывается то над одним, то над другим, но все же чувствует, что жизнь остается и навсегда останется неразрешимой загадкой, той единственной тропой, которая подводит нас к вратам красоты.

Еще раньше я просил вас запомнить одного журналиста, который был в числе гостей на обеде у Оливии, когда я впервые посетил ее. Это был

интересный человек — для меня, во всяком случае. О нем стоило бы написать отдельную новеллу. Время показало, что он этого вполне заслуживает. Но новелла эта никогда не будет написана. Поэтому расскажу о нем здесь. Среди множества людей, которых я встречал в Нью-Йорке и время от времени принимал у себя, Джетро почему-то запомнился мне, — что-то в нем было такое, что произвело на меня сильное впечатление. Но что, однако? Порой спрашивал я себя. Он не был человеком высокоодаренным или все-таки был? Грубоватый в своих вкусах и склонностях, любитель развлечений — вечеринок, банкетов, театральных премьер, завсегдатай в мире кулис и богемы... Стоило, однако, час поговорить с ним, и вы видели, что это на редкость образованный человек, который по первоисточникам изучал историю, науку и искусство и умел применить эти знания в своей работе редактора и публициста. Но он был лишен той чуткости и тонкости, без которых... Ну, вы сами понимаете. И вместе с тем была в нем какая-то червоточинка, как будто временами в полнокровном голосе этого жизнерадостного человека, неутомимого спорщика, самоуверенного критика, проскальзывал чуть слышный, заглушенный, едва уловимый призыв уныния, сомнения, жалобы. Я всегда с удивлением замечал это.

Прошло более полугода с тех пор, как Оливия была вынуждена перебраться в Ист-Сайд и оттуда прислала мне свои стихи. Я провел зиму на юге и месяца четыре не видел Оливии. И вот однажды раздался стук в мою дверь — на пороге стоял Джетро. Он только что узнал о моем возвращении, он хочет сообщить мне нечто важное.

— Вы ведь один из самых близких друзей Оливии, — начал он.

— Надеюсь, что так, — ответил я.

— Видите ли, за последнее время, — вы этого, конечно, не знаете, — я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание. — И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так».

— Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! — ответил я. — Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достойный Х. Б. Бранд уступил?

— Все сделано и улажено, — ответил он. — Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала

неправильно. Ну, да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженемся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты. — Джетро усмехнулся. — Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня.

Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой — человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но, может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался.



...Между тем они поженились и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книжки, книжки, книжки. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро — на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виолончель. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную

жизнь.

Я с самого начала заподозрил — и чувство меня не обмануло, — что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же, нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же?

Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов.

— Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться... ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? — На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала:

— Есть многое на свете, друг Горацио...

— Я так и думал, — ответил я.

В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему:

— Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя.

— Во-первых, — отвечал он, — вы видите, я занят — поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть!

Но вопреки всем моим сомнениям они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне

рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И, несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройти опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене.

Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Вилледже? Да кто они такие, завсегдатаи этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех — вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Вилледжа.

А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших

молодую чету! И вдруг — безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова... Легкая простуда, пустяки... Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер.

Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости.

Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неопишуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала:

— Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной.

«И даже очень», — подумал я, но вслух сказал:

— Я понимаю, Оливия.

— Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала?

— Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной.

— Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет?

— Нет, Оливия, — отвечал я, — так не мог. Вы сами знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей

красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной... Я и теперь так считаю...

Она взяла мои руки в свои.

— Я понимаю, — сказала она, — все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне.

— Вы сделали для него все, — сказал я, — я уверен в этом.

— Потому-то мне и не хотелось бы уходить, — ответила она.

На другой день она была без сознания. Через день — то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла.

Дальше, как обычно, похоронная церемония — бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, — родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, — они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры — это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам.

— Два дня я терпел, — сказал он. — Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, — продолжал он, — находится высоко над городом, на склоне гор, оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место.

Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом

деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот — конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи... Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать... И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась, — он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов.

Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все преходящее в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека — этого представителя *homo sapiens*, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови — и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же в конце концов живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства — какая все это

ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме!

Понятно, к чему привели эти настроения, — к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, — только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года!

Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем — о его работе, о его будущем. И, конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводе — бог его знает, что это такое, — и печень слегка увеличена, так по крайней мере показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность.

— Знаете что, Джек, — сказал я, — вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы...

— Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет.

Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, — скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его.

Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но... Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред — об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке.

Затем легкая простуда, жар и почти сразу же — бессознательное состояние.

— Удивительное дело, — рассказывал он, — как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд.

— Знаю, — сказал я.

— Он только о ней и говорил.

— Вот как.

Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами — их было трое — и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем налито? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?» То вдруг порывался встать и идти домой, — он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала... Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза:

— Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня?

— Конечно, знаю, — ответил он. Глаза его на минуту прояснились. —

Вы... — И он назвал мое имя. Это было прощание.

Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии.

— Как странно, — сказала мне его сестра. — Болезнь у него началась точь-в-точь, как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил.

На двадцать девятый день болезни он умер. Садясь в такси, чтобы ехать к нему домой, я сказал шоферу:

— Поезжайте мимо парка, через Сто десятую улицу, потом вверх по Бродвею.

Но он почему-то свернул у Морнингсайд Хайтс и проехал как раз под окнами больницы, где умерла Оливия. Я этого не заметил, пока случайно не взглянул вверх... Прямо передо мною было окно ее палаты. И тогда я подумал: «Оливия, Оливия, неужели это ты позвала его к себе? Ты так жалела его?..»

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Индустриальные рабочие мира.